

RUSSISCHE

10 Milliard.
Mark

4. 11. 1923

ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО ВЪ БЕРЛИНЪ

Sonntag-Ausgabe Nr. 44

№ 893-й

Воскресенье, 4 ноября 1923 г.

4-й г. изд.

RUL, russische demokratische Tageszeitung

Gegründet von I. Messen, Prof. A. Kaminka, W. Nabokoff †

Подписная цѣна. Въ Берлинѣ и пригородахъ, съ доставкою собствен. разсылк. ежедневно на домъ 50 миллiард. м. въ недѣлю. Цѣна перес. по почтѣ и подѣ баннер. въ Герм. мож. быть измѣн. въ теч. подписки. Въ Германіи: въ Европ. страны: Австрію 30.000 австр. кронъ, Англію 4 шил., Бельгію 10 бельг. фр., Болгарію 60 лев., Венгрію 10.000 венг. кронъ, Голландію 2 голл. гульд., Грецію 30 драхмъ, Дانیю 4 дат. кроны, Данцигскую обл. 3 гульд., Испанію 4 песеты, Италію 12 ит. лиръ, Латвію 150 лата. руб., Литву 6 литъ, Люксембургъ 10 фр., Мемельскую обл. 6 лит., Норвегію 4 норв. кроны, Польшу 400.000 польск. м. за 1 мѣс. Португалію 12 эскудо, Румынію 130 лей, Финляндію 20 фин. мар., Францію 10 фр. фр., Чехословакію 20 чеш. кронъ, Швейцарію 4 швейц. фр., Швецію 3 швед. кроны, Эстонию 180 эст. мар., Югославію 45 динаръ. Во внѣ-европейскія страны: Азію вост. 2 іены, Азію зап. 4 шил., Нидерл. Инд. 2 голл. гульд., Америку вообще 1 долл., Аргент. респ. 2 бум. пезо, Бразилію 6 милъ, Чиле 5 бум. пезо; Африку: Англ. вл. 4 шил., Итал. вл. 12 ит. лиръ, Франц. влад. 10 фр. фр. Къ заказу просятъ прилагать деньги, во избѣжаніе замедленія высылки.

Объявленія: цѣна въ герм. маркахъ — **коэффициенту** множенному на **основную цѣну:**
Сегодня: 60.000.000.000 X 0,20 за миллим. (ширина строки)
въ отдѣлѣ объявленій,
X 1,35 за миллиметръ въ текстѣ,
X 0,18 за миллиметръ за объявленія о
розыскахъ и смерти,
X 0,12 за миллиметръ для врачей и при-
суженныхъ повѣренныхъ,
X 0,16 за миллим. для ищущихъ мѣстъ.

При крупныхъ заказахъ скидки по тарифу. Загранич-
ныя объявленія по особому тарифу. Приемъ объявленій
и подписки въ „Ullsteinhaus“, Berlin SW 68, Koch-
strasse 22-26, и во всѣхъ городскихъ отдѣленіяхъ Ull-
stein's. Редакция (тамъ-же) открыта ежедневно отъ
11 час. утра до 2 час. дня. Редакторы принимаютъ еже-
дневно отъ 1/2 до 1 1/2 часа дня. Телефонъ редакціи:
Dönhoff 47-61.

Основанъ I. В. Гессеномъ, проф. А. И. Каминки и В. Д. Набоковымъ †

Художественному Театру*).

(1898 — 1923 г.)

(Продолжение.)

«Къ вамъ, юноши 1898-го года»...

Необычна ваша театральная «карьеря»: вы сразу попали под обстрѣлъ, въ первую линію огня. Васъ сразу забасали и лаврами, и камнями. Вы одному-двое были и послушнымъ матерьяломъ для всего, что хотѣли сдѣлать изъ васъ двое, взлѣзавшіе новой правды, и сразу, вдругъ, становились въ центрѣ вниманія, передъ всѣмъ театральнымъ міромъ. То — сдѣлавшіеся уже трехвѣдѣльными богами — вы умнѣли, играя выходную роль, то — никому еще новѣдомые, поднимали на себя театральные мовбланы.

Огромное большинство васъ вылетѣло изъ гнѣзда: Владиміра Ивановича; онъ, профессоръ, привелъ васъ изъ «Филармоіи». Видѣлъ-ли онъ уже тогда, чѣмъ вы сдѣлаетесь или просто надѣлаетесь, что изъ васъ, его выучениковъ, все у него взынхитъ, ему будетъ легче дѣлать свои образы? Конечно, и то, и другое, но другого было, вѣроятно, гораздо больше. Но проблема индивидуальности стояла тогда на очереди передъ организаторами новаго театра. Напротивъ, они возстали противъ засилья личности во имя цѣлаго. Довольно Ермоловыхъ! Или — падо сдѣлать такъ, чтобы всѣ были, — казались, — Ермоловыми!

И одни были поражены: нѣтъ въ картинѣ главныхъ и поглавныхъ. Всѣ самые главные. Сегодня — въ центрѣ пьесы, завтра — штрихъ на десятѣхъ планѣ. И другіе негодовали: художники безъ соб-

ственного замысла, безъ своей индивидуальности, безъ собственного высшаго суда, разрушающаго все, созданное не имъ; художники — рабы режиссерскіе.

— «Если актеръ хотѣть поднять руку на столько (показываетъ), тогда какъ я думаю, что ее падо поднять на столько (показываетъ), — онъ нѣтъ не нуженъ» — сказалъ мнѣ Владиміръ Ивановичъ въ первые годы жизни театра.

Подѣлилась Москва на лагери. Были друзья, которыми можно было гордиться, были друзья, которыхъ стыдно. И то же самое среди враговъ. Рукоплескали тѣ, кто сами были новаторами, рукоплескали, лежа на брюхѣ, рукоплещущіе всему сегоднешнему, лишь бы модное. Возставали рутинеры, нежелающіе ничего, кромѣ старины; возставали видящіе ваши крупныя несовершенства, но неумѣющіе еще видѣть вашихъ путей, тѣхъ путей, которые вы и сами много разъ потомъ пзмѣните. Возставали во имя сухой злобности; возставали изъ горячій любви.

Все это относилось къ театру, въ цѣломъ, но и любовь безудержную, и пристрастное подругелюбіе приходилось принимать лично вамъ.

Долго васъ знали, какъ коллективъ, не индивидуализируя васъ; думая, что любого изъ васъ можно съ одинаковымъ успѣхомъ перевоплотить въ любой образъ; думая, что лично вы ничего не принесли съ собою; что въ этомъ и вся прелесть, что ничего не принесли и все изъ васъ можно сдѣлать.

А потомъ... Потомъ, преодолѣвъ до конца коллективизмъ; давъ театру цѣльность, координацію всѣхъ частей; отыскавъ ключъ къ сочетанію внѣшняго и внутренняго; вливъ въ пьесу намѣченную

за предѣлами ея, окружающую ее, жизнь, — театръ, самъ же театръ, стать утверждать личность.

Пришло это, когда и вы уже, пройдя жгѣтельную школу повиновенія, научились повелѣвать самимъ собой. Ненавистная прежде индивидуальность, отсутствіе которой такъ радовались, и въ васъ вытѣкла и расцвѣла, но присутствію ея тоже уже радовались.

Явилось рѣшеніе неосознанной значащій задачи: примиреніе коллектива съ личностью.

Расцвѣло общее; весь спектакль; все въ спектаклѣ. А затѣмъ расцвѣли и вы, личность; сдѣлались крупными, яркими, и любимыми, исключительно любимыми.

Любовь московская. Это явленіе всѣмъ особаго порядка. Ея не знаетъ Петербургъ; ея не знаетъ провинція; ея не знаетъ русская эмиграція, тамъ, гдѣ я ее наблюдаю. Москва любитъ ласково, семейственно, старомодно, сентиментально. Она не роется, не копается въ любимомъ; но поддерживаетъ его ежеминутному экзальмену; не требуя отъ него большаго, чѣмъ онъ можетъ дать; беретъ отъ него его лучшее, умѣетъ не замѣчать его слабаго, а главное — любить прочно, создавая въ душѣ любимаго увѣренность, споры на себя.

Тому, кто не жилъ долго въ Москвѣ, не объяснить этого. Не объяснить, какъ мы умѣли любить Художественный, напирмѣръ, театръ.

— «Какъ тихо говорилъ Москвинъ, — не всѣ слова долетали», — сказали мнѣ здѣсь на дняхъ.

А это потому, что Москвинъ научился говорить при абсолютной, при благоговѣйной тишинѣ.

Развѣ у кого нибудь изъ московской публики Художественнаго театра, былъ

когда нибудь насморкъ, или кашель? Развѣ были тамъ зрители, чувствующіе себя въ зрительномъ залѣ, какъ на именинахъ у Анны Ивановны въ Воронежѣ, и дѣлающіеся между собою во время акта замѣчаниями, даже не утруждая себя понизить голосъ до настоящаго шопота? Мы, зрители, въ Москвѣ, были воспитаны тѣмъ же Художественнымъ театромъ, и чтобы понять абсолютную тишину, пуживо было быть въ напряженной темнотѣ театра въ Камергерскомъ переулкѣ, когда на сценѣ совершается таинство.

Какъ любила Москва васъ, птенцы гнѣзда Владимірова и Константинова!

По настоящему вы будете праздновать свой юбилей дома, и если Москва осталась Московской, я знаю, что будетъ значить этотъ праздникъ.

Въ предѣлахъ столбцовъ газеты я долженъ ограничиться нѣсколькими, немногими, очень немногими, вершинами горной цѣпи, имя которой — Московскій Художественный театръ. Я знаю, какъ это несправедливо, но я не могу иначе.

Вызвалъ благодарною памятью милыхъ тѣмъ упоминхъ, чтобы «слушали ангеловъ въ нѣбѣ», я обйду такихъ прекрасныхъ живыхъ, какъ Раевская, Германова, Успенская, Тарасова, Шевченко, Коренева, Жданова и т. д., и т. д., — даже такихъ, какъ Вишневскій, Грибунинъ, Массалитиновъ и т. д., и т. д., и т. д., и только шесть намековъ на бѣглый пруснокъ сдѣлаю я; шестерыхъ назову: Лилина, Книпперъ, Качаловъ, Москвинъ, Леонидовъ и Лужскій.

Качаловъ. Развѣ можно, видя его, не вѣрить, что на самомъ дѣлѣ сгустываютъ свѣтлыя, прекрасныя феи? Свѣтлая, прекрасная фея оказалась около постели, на которой жона деревенскаго священника родила мальчуга

— Есть на свѣтѣ красота — и она не рѣдко бываетъ ничтожною и пошлой, лишенная благородства; есть благородство — и часто не умѣешь найти формы для того, чтобы проявиться, радуя другихъ и себя; есть талантъ, дающій форму благородству духа, но и талантъ, виѣ гармоніи съ другими дарами, бываетъ только судорогой человѣческаго духа. Я дамъ тебѣ все: дамъ красоту, лишенную пошлости, — изящную, сдержанную, непохожую на красоту толпы; я дамъ тебѣ благородство, съ которымъ ты пройдеши жизнь — спокойно, со скромнымъ достоинствомъ, среди восторговъ, отъ которыхъ у всякаго другого закружилась бы голова. Я дамъ тебѣ талантъ; огромный талантъ, глубокий, и прекрасный, и прочный. Струны его будутъ звенѣть полнымъ, напряженнымъ строемъ, соприкасаясь всегда съ вершинами, на которыхъ душѣ човѣческой дано уноситься только мгновеніями, только немгновѣнъ. Въ душу твою я внесу огонь, а въ груди твоей, вмѣсто голоса човѣческаго, будутъ звуки органа. И дамъ я тебѣ жизнь, при которой ты получиши возможность расти, воспитывать, гранить свой прекрасный геній, на восторженныхъ глазахъ міра. И сынъ сельскаго священника, Шверубовичъ, стать Иваномъ Царевичемъ. Помятымъ только тогда, когда вы поймете, что тутъ фея, тутъ сказка. Здѣсь соединились плѣнительная изысканность содержащаго съ огромной цѣлостію содержания, и звукъ, чарующій все слыхъ и слышѣ, тѣмъ дальше вы его слышите. На крутныя и стремнины повелѣлъ Качалова его геній. Даже рисуя срединность и распадъ, надѣляютъ онъ ихъ образомъ и подобіемъ човѣческимъ; даже въ убогомъ, несчастномъ содержаніи — азаворной проститутки, въ баронѣ, поте-

рившемъ нмъ, — но потерявъ, свѣтлѣтъ духъ човѣческій; и плачете вы надъ его Гаевымъ — брезжитъ изнутри этой непу-тевины свѣтъ. Надорвавшійся на одинъ ладъ Ивановъ, надорвавшійся на другой ладъ Ивановъ и Ставрогинъ — подъ обломками они таятъ у Качалова силу духа, который, при нныхъ условіяхъ, достигъ бы титаническихъ размѣровъ. Русскій интеллигентъ; нашъ русскій интеллигентъ; прекрасный и жалкій, красота и дисгармонія — кто другой въ Россіи такъ показывается, или даже, такъ показывалъ, тебя раньше, до Качалова? И осуждая холоднымъ умомъ, и развѣдая проніей, и защищая сердцемъ, потому что неправду сказалъ сказавшій, что у Анатомы нѣтъ сердца. Со дня, отъ злой карикатуры на човѣка, подымается Качаловъ на вершины его, къ церкви, поднятой надъ спѣлкой вершиной. И нигдѣ, даже за облаками, въ разрѣженномъ воздухѣ, не покидаетъ несчастнаго човѣка его раздвоенность. Величайшій изъ властителей — Цезарь. Какъ испугалъ насъ Качаловъ этой фигурой — да проститъ его Богъ за это. Такъ нельзя шутить. Фаустъ, вызвавшій Духа, не такъ былъ потрясенъ, какъ мы, увидя титана, пришедшаго изъ укрывающагося въ мракѣ.

Всю жизнь долженъ былъ бы Качаловъ играть Цезаря. Видитъ съ немъ по всему міру и поражаетъ впечатлительность човѣческую соединеніемъ нечовѣческаго величія съ човѣческой, слишкомъ човѣческой, слабостію, дряхлостію, честолубіемъ, а онъ принужденъ былъ развить свой мраморъ, — это необходимо было колѣтвиу.

И все таки не этимъ, и все таки не этимъ, и все таки не этимъ — но громаднымъ талантомъ, и не такимъ...

умомъ и благородствомъ, единственныя Качаловъ, а тѣмъ необъяснимымъ, что излучается отъ него. Тѣмъ, что его поцѣловала Фея. Нѣтъ, Фея поцѣловала его потому, что не могла она противостоять необъяснимому обаянію.

И съ тѣхъ поръ его любятъ всѣ... Ольга Леонардовна Книпперъ, Марія Петровна Липина (по алфавиту) — простите меня, большія и прекрасныя, что я, русскій, (а русское не умѣютъ говорить: *спешивше-дмез*), и перечислять на афишахъ сначала артистовъ, а потомъ артистокъ), о періомъ сказалъ объ Иванѣ Царевичѣ: Царевичъ-царевичъ; царевичи — въ очередь.

Книпперъ. Не сразу, далеко не сразу, сдѣлся я въ этотъ плѣнъ. Я чувствовалъ талантъ у Книппера — я видѣлъ умъ, я понималъ своеобразие, но не ощущалъ неповторяемой плѣни, которая должна быть у художника Божьей милостію. Я не зналъ, что вы, Ольга Леонардовна, пришли на сцену адвокатомъ современной женщины: слабой, блестящей, умной и бездумной, волевой и безволевой, и порочной, почти всегда порочной. У русской женщины на сценѣ былъ прокуроръ — Савина; у нея были адвокаты: Ермолова, Федотова и Коммиссаржевская. Но Ермолова и Коммиссаржевская защищали ту женщину, о которой можно, перефразируя, сказать:

«Стапавись передъ ней на колѣни, Украшай ея кудри вѣдомъ».

Онѣ не вѣли другихъ процессовъ — онѣ презирали другихъ женщинъ. Федотова — защищала женское материнство, женскую покорность, пассивное страданіе, несложную, непосредственную радость любви. Современная женщина, прекрасная ядовитая

орхидея, провиденціально несущая въ себѣ столько грѣховъ и такъ остро отравляющая жизнь, — она требовала себѣ адвоката, — и пришли вы, Ольга Леонардовна.

Средняя пѣса — «Осенній Скрипикъ» — и можетъ быть меньше, тѣмъ средняя женщина въ ней. Вся спутанная ложью. Но пришли вы и потребовали признанія за пей права на ея маленькія, но ее наполняющія чувства; па ея свободу и па право ея лжи, если вся жизнь такъ сжимаетъ ее, что только виртуозностью лжи можетъ купить она свое маленькое счастье. Слышите? — счастье! Вы показываею палмъ, что дооружившись до зубовъ ложью, эта женщина такъ же борется, какъ борются герои, отставая выстѣпленности, ибо и тутъ высшая цѣлность. Вы идете затѣмъ въ душу Равевской и требуете всей полноты участія къ шалому, наломанному, неумѣющему ничего дѣлать порочному созданію, и мы уже не хотимъ быть «чистотлями», и все участіе отдаемъ той, кто стоитъ «ниже любви», обмгигающій огонекъ, обожжающій бабочка. И дальше идете вы; и вотъ уже въ мутномъ потокѣ чувственности доказавшаяся до негра Фру Юліана; и вижу ваши глаза, Ольга Леонардовна: горящія любовью, страстью, похотью; вижу, сколько была дожна пройти женская душа; какія дороги нерейти отъ дѣвческаго рая п первоначальной мечты о цѣлности, черезъ скорби и недоумѣнія, къ праву на свой дурманъ, па негра. Трагедія «пашей» женщины, трагедія Нasti на всѣхъ ступеняхъ, Nasti явной и тайной, — вотъ ваша пѣся, актриса умная, проникшая, жизнерадостная, сильная, и все таки пропѣвшая ту пѣсню, мелодію которой я сейчасъ записать.

Сергій Яблоновскій.

(Окончаніе слѣдуетъ.)